
АНТОН АБРАМОВ
ОБОЮДНЫЙ УКОЛ
ЛАНСКОЙ
Сильвио.
Рассвет.
Мельница.

Антон Абрамов
Обоюдный укол

https://litres.ru/74788413
SelfPub; 2026

Аннотация

В лицее, где прозвища раздают по героям классики, Ленского снова убили на дуэли. Шестнадцатилетнего поэта нашли у старой мельницы с обломком шпаги под ключицей. Шпагу эту еще зимой списала тренер фехтовальной команды Ирина Гордеева, и теперь в убийстве обвиняют ее. Дочь Гордеевой в мамину вину не верит. В сентябре она приходит в тот же лицей по спортивной квоте, под фамилией отца. Новенькой тут же дают пушкинское прозвище Сильвио и ставят в пару с Евгением Ланским, лучшим учеником ее матери. Здесь его давно зовут Онегиным и вполголоса говорят, что Ленского убил он. Доказать это она и приехала. Распорядитель в черной маске все так же собирает у мельницы рассветные дуэли без защитных наконечников и принимает ставки. В октябре карточка с вызовом появляется и в ее шкафчике. К декабрю Сильвио с Онегиным фехтуют по ночам в пустом манеже и давно не ведут счет уколам. Там же они впервые целуются. Улики по-прежнему указывают на него...

Содержание

Пролог 4
Часть первая. Сентябрь - октябрь 9
Глава 1. Квота 9
Глава 2. Ночной чай 20
Глава 3. Кладовая 32
Глава 4. «Поединок» 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Обоюдный укол

Пролог

Ночь на 31 мая

Я здесь, чтобы проиграть.

Я нахожу куртку в ящике под настилом на ощупь, по толстому шву на воротнике, и, пока вытаскиваю её, из кармана вываливается сухой прошлогодний лист. Его зачем-то хочется вернуть на место, и я возвращаю, пусть к утру здесь всё будет как всегда.

На спине чёрной краской «ЛАНСКОЙ», у «Н» не хватает перекладины. Куртка велика в плечах, отцовская, что с неё взять, и хоть застегнись до горла, под воротник всё равно тянет сыростью от пруда. Маска лежит там же. Надеваю её сразу, ещё в тени колеса, потому что к барьеру приходят по одному и уже в масках. Внутри пахнет старым поролоном и дождём.

Если к барьеру никто не выйдет, протоколы уйдут в учительскую, так в уставе, и блеф это или нет, проверять я не собираюсь. За учительской будет отец в кабинете директора и конец медицинскому, про который, кроме меня, на свете никто не знает.

На настил я выхожу раньше всех. Вода в лотке шумит так ровно, что через минуту про неё забываешь, и слышно толь-

ко комаров да собственное дыхание в сетке. Небо в три часа ночи цвета молока с водой, и спальный корпус на том берегу пруда виден до последнего окна.

На втором этаже одно окно нараспашку, занавеска висит на подоконнике, и через несколько часов там будут ругаться из-за холодной воды в душе и опаздывать на завтрак, а мне так хочется туда, к ним, злиться из-за какой-нибудь ерунды, что приходится отвернуться к воде.

Распорядитель приходит следом, в чёрной маске, с длинным командным чехлом на плече, и ставит на доски фонарь, хотя ночь белая и фонарь нужен разве что для порядка. Лица за сеткой не разглядеть, и я гадаю, улыбается он там или нет, пока мы тут всё делаем всерьёз.

План простой: он, как всегда, пойдёт в атаку первым, я выставлю руку чуть позже, чем надо, и его клинок достанет до предплечья. Первая кровь у барьера обычно царапина, на неё хватает пластыря, и пусть гордится ею сколько влезет, протокол так и так подпишут, и до учительской ничего не дойдёт.

Всё из-за одного танца, и ведь я помню его весь, до последнего такта, хотя стараюсь не вспоминать. Утром он, конечно, всё поймёт и не простит, он вообще не прощает, когда за него решают, и будет прав.

Остальные приходят старым людским ходом, мимо камер, и первым на настил поднимается Заречный, прямой, хоть устав по нему сверяй. Кюхля, мой секундант из восьмого

класса, отстаёт и зевает во весь рот, у него это от страха.

Я узнаю соперника и в маске, по тому, как он перекатывается с пятки на носок: так же он качается у доски, пока Гурьева не разрешит читать. Наверняка уже сочиняет, и к утру об этой ночи будет строфа, где Онегин опять выйдет у него холодным.

В ивняке за прудом хрустит ветка, утка, наверное, или кто-то из тех, кто ставит деньги и не хочет светиться.

Кюхля подходит вплотную и заглядывает мне в сетку. Я отворачиваюсь и делаю вид, что вожусь с ремнём, а он обходит меня кругом и больше не всматривается.

Распорядитель расстёгивает чехол и вынимает две шпаги без наконечников. Заречный сгибает каждую о настил и долго щурится вдоль клинка на свет, значит, всё в порядке. Кюхле по уставу полагается делать то же самое, но он держит фонарь, и луч гуляет у него по траве.

Одну шпагу Распорядитель выбирает сам и подаёт мне эфесом вперёд, вторую уносит к нему. Перчаток у барьера не носят, и рукоять в ладони ледяная. На тёмное голое острие я стараюсь не смотреть.

Куртка на нём сидит криво, одна пола ниже другой. Он всегда застёгивается на бегу и, если поправить, сердится и перестёгивает заново, ещё медленнее, назло. Засмеяться бы сейчас, вдруг засмеются все и можно будет разойтись по корпусам, только смеяться придётся вслух.

Распорядитель встаёт посередине, голос у него из-под

маски глухой, ни на чей не похожий:

— Онегин. Ленский. До первой крови.

Кюхля тянется к моему плечу и заранее улыбается, ждёт какого-то слова, которого у меня нет, да и у барьера молчат. Мы салютуем, и улыбка у Кюхли гаснет. Сегодня я Онегин, и буквы на спине липнут к лопаткам, как непросохшая краска.

— Теперь сходитесь.

Чёрная маска отступает в туман над прудом. Только царапина, только царапина, повторяю я про себя, как считалку, и смотрю ему на ноги, на мокрые доски, по которым едут подошвы. Перед атакой он задерживает дыхание и переносит вес на переднюю, это видно за полсекунды, и рука уже просится навстречу, а надо стоять.

Вес уходит вперёд. Я выставляю руку по плану, поздно и без укола, рукав натягивается на предплечье, вот сюда, пожалуйста, сюда, только рука делает то, чему её учат с семи лет, и локоть распрямляется сам, без меня.

Его острие вспарывает мне рукав вместе с кожей, и в ту же секунду мой клинок упирается ему в грудь у ключицы. Обоюдный, успеваю подумать я, пока клинок гнётся, и в ладони вдруг становится пусто и легко. Где-то сбоку звякает о камень и булькает в лотке.

Я отдёргиваю руку, в ней эфес и обломок, и рваный край у обломка тёмный и мокрый. Предплечье горит от локтя до запястья, по правому рукаву течёт тёплое, но туда я не смотрю.

Он ещё стоит. На белой куртке у ключицы темнеет пятно,

он прижимает к нему ладонь, смотрит на ладонь и прижимает снова, а я думаю, что первая кровь у обоих и надо сказать это вслух, и тогда всё кончится. Он сгибает колени и садится мимо бортика, на который хочет опереться.

— Володя! — кричу я, хотя у барьера молчат, и голос выходит тоньше, чем надо, а после всех этих Онегиных и Ленских его имя звучит тут неприлично громко.

Он поворачивает ко мне маску и узнаёт, я вижу, что узнаёт, и тяну к нему левую руку, а правая так и сжимает обломок, и я разжимаю пальцы, и чашка катится по доскам.

Чёрная маска делает к нему шаг и замирает, ждёт, что он сейчас встанет сам. Кто-то пробегает мимо и задевает меня плечом, кажется, Заречный.

Я пячусь до самого края настила, а там разворачиваюсь и бегу в парк по мокрой траве. Маска цепляется за ветку, я выдираю её из листьев, снимать нельзя, рукав прилипает к руке, и мне всё ещё хочется успеть в корпус до того, как кто-нибудь проснётся.

Часть первая. Сентябрь - октябрь

Глава 1. Квота

1 сентября
За честный труд нас ждёт почёт.
Отец оплатит этот счёт.
Из тетради В. Арсеньева

Отец оставил мне только фамилию, и на проходной лицея она наконец пригодилась. Охранник долго искал меня в списке и, найдя «Корнева А., 11 кл., спортивная квота», открыл турникет, не взглянув на меня. С маминой фамилией меня бы разглядели: Гордееву всё лето склоняли в телеграм-каналах рядом со словами «халатность» и «гибель лицеиста», а здесь эти каналы наверняка читали все, от охраны до директора.

Маму обвиняли в гибели Володи Арсеньева. Каналы пересказывали всё как под копирку. В ночь на тридцать первое мая Арсеньев с кем-то фехтовал у старой мельницы, пока клинок партнёра не лопнул и обломок не вошёл ему под ключицу. Обе шпаги оказались из партии, которую в феврале списала тренер Гордеева.

Дальше шло «партнёр вызвал скорую и скрылся», а следом, без имени, «сын попечителя». Я знала это имя и так:

Евгений Ланской, лучший мамин шпажист, про которого она пять лет рассказывала за ужином, пока я не стала уходить из-за стола.

Мама проводила меня только до электрички: дальше ей было нельзя по подписке о невыезде. На перроне она перекрестила меня, быстро и сердито, как смахивают с куртки нитку, и взяла с меня слово фехтовать и никуда не лезть. Я пообещала и всю дорогу думала, где в лицее искать то, чего не нашло следствие.

За турникетом, на площадке у главного дома, родители выгружали детей из машин, на каких в моей спортшколе не ездил даже директор, и я со своим чехлом через плечо смотрелась среди них курьером. Над крыльцом ветер рвал растяжку про какой-то прекрасный союз, и двое мальчишек держали её за углы.

Меня ждал парень с тележкой для матов. Он посмотрел на чехол раньше, чем на меня, и заулыбался.

— Корнева? Шпага? — Чехол уже лежал на тележке, сумки легли сверху. — Митя. Маэстро велел встретить, а то новенькие в первый день наматывают круги вокруг пруда и выходят прямо к директору. Держи, это пропуск и расписание. Пропуск потеряешь — неделю будешь ходить через охрану.

Дорожки в старом усадебном парке петляли так, что одна я бы и правда вышла к директору. Митя говорил не переставая. Он назвал себя Пущиным: прозвища тут у всех из классики, а новеньким их дают в октябре, на посвящении. Я

смутно помнила, кто такой Пущин, что-то про верного друга Пушкина, и прозвище Мите шло. У одной скамейки он притормозил.

— Здесь целуются десятые классы. Из директорских окон её не видно, так что имей в виду.

На том берегу пруда стояла мельница с тёмным колесом. Я узнала её по фотографиям из каналов и смотрела на неё до конца мостика. Митя, показавший мне даже скамейку, про мельницу не сказал ни слова: о ней здесь, видно, не говорили.

У манежа, откуда доносился стук клинков, Митя показал мне кисть. По тыльной стороне запястья шёл белый шов, и два пальца у него не разгибались до конца.

— Я тоже по квоте заходил, на шпагу. Стекло, по-дурацки вышло. Квоту сняли, а из лицея не выгнали, оставили лаборантом при команде. Сломаешь что-нибудь — неси мне.

Откуда я, Митя не спросил. С электрички я готовилась к тому, что об этом спросят и придётся врать, так что до корпуса была ему благодарна за его скамейку.

В женское крыло мальчикам разрешалось заходить только первого сентября и только с тележкой, поэтому Митя докатил мои сумки до самой двери.

— Соседка у тебя Тата, приедет вечером. Если запахнет пирогами, это она, а пироги у нас запрещены уставом, так что ты ничего не чувствовала. Маэстро ждёт в тренерской, это в манеже, налево от раздевалок. — Он развернул тележ-

ку, но обернулся. — Чай какой пьёшь?

— Любой.

— Так не бывает, — серьёзно возразил Митя. — Ладно, разберёмся.

В коридоре манежа висели фотографии команды, и одну, видно, не сняли из-за кубка. Кубок держал Ланской, а мама придерживала его за локоть, чтобы он не заслонял остальных.

Пять лет эта тренерская была маминой. Сама я здесь не бывала, но по её рассказам знала, что стол поставлен так, чтобы сидеть спиной к окну и видеть дверь, и что второй шкаф заедает. Стол стоял именно так. На дверце второго шкафа белела полоска пластыря, и на ней маминым почерком, крупно и с нажимом, было написано: «Гордеева. Не трогать».

За маминым столом сидел Сабуров и листал мою папку, присвистывая сквозь зубы. Маминой фамилии в папке не было нигде: подпись под согласием на зачисление мама выпросила у отца. На августовском просмотре в городе Сабуров смотрел на меня дольше, чем на остальных, а сказал только, чтобы я не тащила заднюю ногу, слово в слово как мама.

— Корнева, — прочитал он вслух и закрыл папку. — Шпага, правая. Садись.

Я осталась стоять и смотрела на шкаф. Сабуров проследил мой взгляд и встал. Подцепив ногтем край пластыря, он

снял полоску одним рывком и, сложив её липкой стороной внутрь, убрал в нагрудный карман.

— Корнева так Корнева. — Он вернулся за стол.

Выходило, что он узнал меня ещё на просмотре.

— Никто не знает, — вырвалось у меня, и получилось похоже на просьбу.

— Значит, никто. — Он подвинул ко мне листок с расписанием. — Тренировка в пять. Пары ставлю я, это не обсуждается.

Я не решилась спросить, почему он молчит и на чьей он стороне. Мама, знавшая его по сборной, звала его просто Олегом и говорила, что слова из него не вытянешь, а он уже открывал следующую папку.

Фехтовальный зал устроили в бывшем конном манеже, с окнами во всю стену, и под высокими балками стоял ровный железный шум. К пяти там собралось человек двадцать.

Я знала по первенствам половину девчонок, и они меня тоже, только как Корневу из спортшколы, за спиной у которой на тренерском стуле сидел Кравец. Мама на соревнованиях держалась своих лицейских и ко мне при них не подходила: такое у неё было правило, и обижаться на него я перестала лет в двенадцать.

Ланской сидел в конце скамейки. Между ним и остальными оставалось место ещё на двоих, хотя скамейка была короткая и несколько человек разминались прямо на полу. Он перебирал рукоять шестигранником, и руки у него были

длинные и спокойные, что разозлило меня отдельно: у меня на его месте ключ прыгал бы в пальцах.

Мама хвалила его словами «не суетится», высшей своей похвалой, которой я от неё не дождалась. Он и правда не суетился и подкручивал винт, проверяя, держится ли чашка, с той ровной обстоятельностью, при которой и не подумаешь, что в мае здесь что-то случилось.

— Корнева, Ланской. — Сабурову не пришлось повышать голос, чтобы зал затих. — Пятая дорожка, до пяти.

На соседней дорожке перестали фехтовать. Высокий парень у стены, который всё это время подбрасывал монету, поймал её не глядя и сказал на весь зал:

— Ланской, ты с новенькой поаккуратнее. Нам одного раза хватило.

Ланской не повернул головы, и никто в зале за него не заступился.

— Дорохов. — Сабуров смотрел на нашу дорожку. — Три круга вокруг пруда. Монету оставь, утопишь.

Дорохов сунул монету кому-то из младших и побежал к выходу тяжело, с пятки. Ноги у него, отметила я про себя, были ленивые.

Я не знала, почему Сабуров поставил меня именно с Ланским, и думать об этом было некогда: я надела маску раньше, чем Ланской встал со скамейки. Шнур пристегнули к катушке, Сабуров занял место судьи сбоку от дорожки.

— К бою. Готовы? Начали!

Я пошла сразу, как учила мама: не давай сопернику придумать бой. Флеш у меня был самый быстрый в спортшколе, и Ланской его не ждал. Клинок выгнулся у него на плече, и, когда загорелась моя лампа, в зале кто-то выдохнул.

На втором флеше его острие уже стояло у меня на пути, и я налетела на него рукой сама.

Дальше было некрасиво. Читать Ланского оказалось не по чему: вес у него сидел ровно посередине, и до последней секунды я не знала, отступит он или пойдёт навстречу. На каждое «Начали!» я атаковала, а он ловил меня в руку и дышал под маской, как на разминке, и только когда я догадалась колоть ниже, в стопу, и попала так два раза подряд, счёт сравнялся, по три укола.

На следующем флеше я влетела в него плечом. Мы стукнулись масками, и он не отступил ни на сантиметр. Сабуров свистнул так, что у меня зазвенело в ухе.

— Корнева! Ещё раз — карточка. На дорожке не толкаются.

— Ему скажите, — огрызнулась я, хотя толкалась тут одна я.

Пока я думала о Сабурове, Ланской взял четвёртый укол. Догнала я его на чистой злости, атакой с середины дорожки без всякой подготовки, и Ланской, кажется, впервые за бой опоздал.

Счёт снова сравнялся. Я отошла на линию и повернула чашку к маске.

Изнутри на ободе, у самого края, был процарапан крестик, маленький и кривой. Мама царапала его шилом на каждой моей чашке с тех пор, как мне исполнилось десять, и объясняла: это чтобы на сборах не путали шпаги. Перед решающим уколом я всегда его находила, и в голове у меня мама кричала, как на наших тренировках: «Начинай, не стой как в очереди!»

— Начали!

Я начала. Ланской отступил на полшага, ровно на столько, чтобы мой клинок ушёл в пустоту, и его острие ткнуло меня в руку у самого запястья. Загорелась его лампа, и Сабуров молча показал на него. Запястье загудело до самого локтя.

Ланской снял маску и, как положено после боя, протянул руку. Лицо у него было мокрое и совершенно спокойное. Я стянула свою маску и пожала ему руку, глядя на аппарат, а он смотрел мимо меня, на моё запястье.

— Лёд, минут на десять. — Голос у него был тихий: он, видимо, экономил и на нём. — И кисть на атаке не заваливай, связки на лучезапястном потянешь.

Уколол и тут же назначил лечение, точно я пришла к нему на приём. Он повернулся к скамейке, к своему шестиграннику.

— Ещё!

Ланской обернулся и посмотрел поверх моей головы на Сабурова, и это разозлило меня сильнее счёта.

— Корнева. — Сабуров отстёгивал мой шнур от катушки.

— Завтра в семь утра, индивидуально. Сегодня ты закончила.

Я стояла с маской в руке и от злости почти не чувствовала кисти.

Лёд, завёрнутый в полотенце, принёс Митя и приложил к моему запястью бережно, как к своему.

— Держи. Ты ему четыре положила. — Митя сказал это так гордо, что я чуть не улыбнулась. — С мая против него никто не выходил. Маэстро первый поставил.

— Почему? — Я знала почему, но хотела услышать, как это говорят здесь.

Митя забрал у меня маску.

— Сушить повешу. Лёд не снимай.

На ужине я села с краю и на мамино «Поела?» отправила фотографию тарелки, убрав из кадра пустой стул напротив.

Сумки стояли у двери, как их оставил Митя. Комната была на двоих, с окном на пруд. Раскладывая вещи, я дочитала расписание, которое Митя отдал вместе с пропуском. Элективный курс «Поединок» понравился мне, пока рядом не нашлась фамилия учительницы литературы.

Шпаги в чехле я поставила в угол и подошла к окну. На том берегу в сумерках темнела мельница. Где-то у этого колеса в мае нашли Володю. Окна мальчишеского крыла выходили на ту же сторону, и мне хотелось знать, задёргивает ли Ланской штору.

Тата приехала в десятом часу и вошла спиной вперёд: ру-

ками она держала над головой круглую жестяную коробку, а ногой подтаскивала сумку размером с небольшую собаку.

— Это не пирог, — объявила она вместо «привет». — Пироги у нас запрещены, это продукт. Ты Корнева? Ты правда Ланскому четыре положила? Мне уже полкоманды написало, даже Дорохов с пруда, у него одышка в каждом слове.

Коробку она пристроила на тумбочку у окна. Сумку бросила было на ту же кровать, но подумала и перетащила на другую.

— Окно тебе. Я сплю с открытой форточкой и всю ночь мёрзну, а у окна мёрзну ещё сильнее, это физика. — Она оглядела меня с ног до головы. — Ты маленькая. В смысле, компактная, как перочинный ножик. Тебя кто ставил?

Врать тут надо было точно: тренера любой может найти в протоколах.

— В спортшколе, у Кравца, — ответила я, и по бумагам так оно и было.

Тата отломила мне кусок, с капустой и ещё тёплый.

— Мамин. С понедельника буду печь сама, у меня тут духовка спрятана, ты её не видела. Твои кто?

— Мама бухгалтер. Папа отдельно.

— О, значит, считать умеешь. Будешь мне сахар для теста отмерять.

Правдой тут было только про папу, а мама, которая ни разу в жизни не пересчитала сдачу, за бухгалтера меня бы не простила.

— Маэстро тебя к Ланскому нарочно поставил? — Тата забралась с ногами на кровать и вдруг стала серьёзной.

— Не знаю.

— Ты же знаешь про Володю?

— Читала.

— У нас его давно зовут Онегиным. — Тата понизила голос, хотя за стеной было тихо. — Только после мая это звучит по-другому. Все думают, что это он.

— Ты тоже так думаешь?

— Не знаю, — честно ответила Тата, подумав. — Он мне прошлой зимой на сборах палец вправил. Я выбила его о гарду и ревела, а он взял и вправил, даже не предупредил, и сразу стало не больно. — Она пожала плечами. — Хотя убийц я пока не встречала, сравнивать мне не с кем.

Тата уснула через десять минут, отвернувшись к стене и оставив открытой форточку. Я лежала с телефоном на груди и ждала, когда он засветится.

Мама написала без двадцати двенадцать:

«Тренировка была? С кем стояла?»

«С одним мальчиком. 4:5».

«Опять злилась».

Глава 2. Ночной чай

11 сентября
Я всех вас вписываю в книгу -
Кто в рифму, кто, увы, в интригу.
Из тетради В. Арсеньева

Митя знал в лицее всё, чего не вывешивали у столовой. По его расписанию в пятницу, в половине двенадцатого ночи, полагался чай.

Полторы недели я смотрела, как обходят Ланского. В столовой стулья рядом с ним пустовали даже в обед, когда сесть было негде, в коридоре перед ним расступались, и он проходил, глядя поверх голов. При мне и в раздевалке говорили только о расписании электричек до города и о том, чья очередь сдавать форму в стирку.

Со мной он с первого сентября не заговорил ни разу. Только на тренировках я дважды поймала на себе его взгляд, и оба раза он первым отворачивался к соседней дорожке, а я до ужина злилась на себя за то, что вообще смотрела в его сторону.

Сабуров занимался со мной в семь утра, пока в манеже не было никого, кроме уборщицы с поломоечной машиной. Он отобрал у меня шпагу на первом же занятии, посмотрев на моё запястье, и неделю я ходила одними ногами от окна к окну, а он свистел сквозь зубы и время от времени бросал:

«Задняя!»

Мы с Сабуровым не говорили о маме. Только в среду он замолчал посреди команды и смотрел на мою стойку так долго, что у меня затекла нога, а когда я её переставила, отвернулся к окну и велел начинать сначала.

Во вторую пятницу к одиннадцати вечера в нашей комнате пахло капустой. Духовку, которую я не видела, Тата держала в шкафу за зимней курткой, а пироги в лицее, если ей верить, запретили после того, как однажды не досталось завхозу Рябову. Я лежала одетая поверх покрывала с десяти часов. Тата завернула пирог в полотенце прямо с противня и сунула мне.

— На, неси контрольную.

— Какую контрольную?

— С капустой. Если поймают, мы несём контрольную.

— В полночь?

— У нас очень строгие учителя.

— А меня-то зачем?

— Митя просил тебя привести. Чтобы ты перестала смотреть на всех, как на судейскую бригаду.

В коридорах со мной здоровался один Митя: останавливался, даже если шёл не один, и ждал, пока я отвечу. К концу недели со мной начали здороваться и другие из команды. Мне нужно было, чтобы при мне перестали замолкать, и ради этого я пошла бы на чай и без пирога.

В мужское крыло ночью ходили через сушилку на пер-

вом этаже, где пахло порошком и горячими трубами. Мокрые простыни хлопали нас по лицам, и Тата вела меня между ними, шёпотом считая шаги до приоткрытой двери, за которой дежурный воспитатель смотрел футбол без звука.

Пол в сушилке был тёплый, в носках по нему хотелось идти медленно, но Тата тянула меня за рукав.

— Попадёмся — делай глупое лицо, — велела она на лестнице. — Тебе поверят, ты новенькая.

Митина комната была на втором этаже, в конце коридора. Тата стукнула два раза и, выждав, третий.

В комнате горела одна лампа, на полке над второй кроватью, где лицом к стене спал мальчишка лет четырнадцати.

— Кюхля, — шепнул Митя. — Девятый класс. Он всегда так спит, при свете. Не проснётся.

Он набросил на абажур футболку, и свет стал жёлтым и низким, как в палатке. На подоконнике у Мити стояли в ряд жестяные банки с чаем, а электрический чайник он выдёргивал из розетки за секунду до кипения, чтобы тот не щёлкнул.

— Почему Кюхля? — спросила я.

— Стихи пишет, — ответила за него Тата. — Как тот. И такие же.

Я не спросила, кто такой «тот».

На Митиной кровати сидела девчонка, которую он представил Ольгой, а на стуле у стола устроился парень, которого он назвал Зарецким. Я знала Ольгу по первенствам: Свиридова доходила до восьмёрки почти на каждом и смеялась

даже на дорожке.

— Так это ты по утрам в манеже топаешь? — обрадовалась она. — А я думала, лошадей обратно завели.

Зарецкий сидел очень прямо, в рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и подал мне руку через стол, как подают после боя.

— Тату ты знаешь, — продолжал Митя. — Ей прозвища так и не дали.

— По обычаю прозвище дают по характеру, из книги, — объяснил Зарецкий. — Под Тату книгу ещё не написали.

— Меня мама уже назвала. — Тата развернула полотенце.

Меня усадили на пол, на сложенное одеяло, спиной к Митиной кровати, и Тата устроилась рядом.

— Ты на месте Ланского, — сообщила сверху Ольга. — Он тут всегда сидел, пока ходил.

Я отодвинулась к краю одеяла.

Чай у Мити пили из кружек, подписанных маркером: на каждой стояло прозвище, а на Татиной просто «ТАТА». Тем же маркером был подписан и пакет со льдом, «КОРНЕВОЙ», который каждое утро ждал меня на подоконнике у раздевалки. Наливал Митя, никого не спрашивая, Тате с чабрецом, Зарецкому чёрный без сахара, а мне в кружку без надписи положил лимон.

— Ты в столовой лимон брала. Подпишу, когда тебе дадут прозвище.

Я не поняла, где он это видел: в столовой я его не встре-

чала ни разу. Я взяла кружку левой, потому что правое запястье после Ланского ещё ныло, если сжать пальцы. Митя подсунул мне под правый локоть подушку и подбил её кулаком, чтобы рука лежала ровно.

— Ланской бьёт точно. Он всё делает точно.

Сам Митя за весь вечер ни разу не сел, а его кружка, налитая последней, до конца простояла на подоконнике.

— По обычаю кружки моет новенькая.

— Кружки мою я, — донеслось от подоконника, и Зарецкий тут же вспомнил, что этот обычай, кажется, отменили.

Контрольную съели за три минуты, всю, кроме последнего куска. Ольга облизала пальцы и объявила, что новенькой нужно прозвище, потому что до октября далеко.

— До посвящения не положено.

— Предлагаю Ножик. — Тата подняла руку, как на уроке.

— Ножика в классике нет.

— Значит, плохо искали. Дорохову вон нашли.

— Дорохов у нас Долохов, — просветил меня Зарецкий. — Из «Войны и мира». Тот на спор выпил бутылку рома, сидя на окне третьего этажа.

— Наш пока не пил, — вставила Тата. — Но на тебя уже шоколадку поставил: говорит, ты Ланского ещё сделаешь.

— На посвящении тебя покатают на лодке, — пообещала мне Ольга. — Ночью. Без вёсел.

— С одним веслом. По обычаю.

— Ты хоть «Онегина» читала? — не унималась Ольга.

— Проходила.

— Мимо, — подсказала Тата.

Я засмеялась вместе со всеми, хотя повод дала сама, а Тата так хохотала, что облила мне колено чаем с чабрецом, и мокрая штанина липла ко мне до конца вечера.

— А от Кравца ты чего ушла? — спросила Ольга, отдышавшись.

— Допросы по пятницам не ведём, — отозвался Митя и подлил ей зелёного, хотя кружка у неё была почти полная.

— Ладно. Тогда скажи, как тебе Онегин на дорожке.

— Медленный.

— Медленный! — Ольга захохотала, запрокинув голову. — Слышали? Ланской у нас медленный!

Засмеялась она одна. Тата почему-то посмотрела на Митю, и я спросила, пока все молчали:

— Почему на него все так смотрят?

Ольга перестала смеяться.

— Потому что я видел, — ответил Зарецкий.

— Стас, опять ты про него, — сказала Ольга, не поднимая глаз.

Зарецкий не ответил ей, только поставил кружку на стол, донышком точно в мокрый след, и заговорил по пунктам, как у доски.

— В ночь на тридцать первое мне не спалось. Я вышел к пруду. Ночи тогда были белые, и с мостика мельницу видно хорошо. На настиле у колеса стояли двое, в масках и белых

куртках. Звякнуло так, что слышно было на весь пруд.

Рассказывал он гладко, явно не в первый раз: в одном месте Тата беззвучно повторила за ним слова. Сидел он по-прежнему прямо, только вес с каждой фразой уходил у него назад, к спинке стула. На дорожке так готовятся отступать. Я решила, что ему тяжело вспоминать.

— У одного на спине чёрной краской было написано: «ЛАНСКОЙ». И тут он закричал: «Володя!» Я побежал в корпус.

Ольга сказала, что кончилась вода, и ушла с чайником.

— Они с Володей встречались, — шепнула мне Тата.

Лицо было под маской, а фамилию он прочёл, так что про лицо спрашивать было незачем. Пока я повторяла про себя его рассказ, чтобы утром пересказать маминому адвокату слово в слово, я держала кружку обеими руками, больной тоже. Кюхля у стены не шевелился.

— Следователю ты это рассказал?

— Следователю я сказал, что спал. — Зарецкий провёл пальцем по краю стола, проверяя, нет ли пыли. — У нас не принято.

— Что не принято?

— Своих сдавать, — объяснила Тата. — А судить будут Ирину Андреевну. Я ей командную медаль обещала, до выпуска. Она меня в седьмом классе из волейбола забрала. Сказала, что руки у меня длинные и совесть есть, а остальному она научит.

Мама говорила про совесть и мне, только с сомнением.

— Обвиняют, — уточнил Зарецкий. — Судить ещё не судили.

— Её жалко, — сказал Митя.

Я стала вылавливать ложкой утонувший лимон. Летом к маме ходили знакомые и, пока она наливала им чай, выпытывали, что же всё-таки случилось.

— Ты её по сборам должна помнить, — повернулся ко мне Зарецкий. — Она каждое лето с нашими ездила.

— Пересекались, — сказала я. — Она мне один раз заднюю ногу поправила.

— Она всем её поправляла, — вздохнула Тата. — Мне до сих пор снится.

Я поджала под себя ногу, как перед толчком с линии. Митя молча пододвинул ко мне полотенце с последним куском контрольной.

Ольга вернулась с полным чайником минут через десять и смеялась уже над чем-то другим. В половине первого Митя выдернул чайник из розетки и велел расходиться по одному, с перерывом. Тата выскользнула первой. Кюхля лежал всё так же, лицом к стене, но одеяло теперь было натянуто до самой макушки.

Меня Митя пошёл проводить и у лестницы отдал мне две тетради в клеёнчатых обложках. Они пахли чабрецом.

— Держи. Володины, его мама мне летом отдала.

Он открыл верхнюю там, где торчал ярлычок от чайного

пакетика.

— Хочешь понять, почему на Ланского так смотрят, — читай.

— Почему мне?

— Ты же спрашивала. Лёд утром на том же месте.

Он ушёл к себе, не дожидаясь, пока я спущусь.

Я догнала Тату в сушилке, у последнего ряда простыней. Тут открылась дверь воспитательской, и в коридоре зашаркали тапки. Тата втянула меня за мокрую простыню, и мы простояли там, пока тапки не дошаркали до туалета и не хлопнула дверь. Всё это время я прижимала тетради к животу.

— Если что, мы несли контрольную, — прошептала Тата мне в ухо, и до своей двери мы бежали, зажимая рты.

В комнате Тата покосилась на тетради.

— Володины? Он их всем читал, на подоконнике в библиотеке. На Мельник у него рифмы не нашлось, так он про пироги написал. Я обиделась, а через неделю попросила переписать.

Уснула она сразу и опять не закрыла форточку. От мамы с половины первого висело «Спишь?». Я ответила «Сплю». Я не стала писать ей про Зарецкого: слух не показания, а следователю он всё равно повторит, что спал.

Под одеялом, с телефоном вместо фонарика, я открыла верхнюю тетрадь. На обороте обложки мелким почерком с наклоном было написано:

Онегин — Ланской, кто же ещё.
Ленский — я (по совместительству автор).
Ольга — сами знаете.
Зарецкий — Заречный, по созвучию и по призванию.
Пущин — Митя, за чай.

Я не помнила никакого Зарецкого у Пушкина, а фамилию нашего узнала только сейчас: Заречный.

Онегиным Ланского назначил сам Володя, задолго до мая, и лицей только повторял за ним. Я и без «Поединка» помнила, что Онегин у Пушкина убивает Ленского на дуэли. Выходило, что убийцу себе Володя записал своей рукой, на обороте обложки.

Я листала тетради, как протоколы соревнований, на которых сама не фехтовала: искала фамилии и счёт. Между строфами попадались домашние задания и обведённое два раза «купить шнур». Злых стихов у Володи было больше, чем добрых, и Онегин почти на каждой странице смотрел у него поверх голов. Над строфой про столовую я засмеялась в подушку:

Мы все питались понемногу
Котлетой или чем-нибудь,
Изжогой тоже, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Нашлась строфа и про самого автора:

Журналу я не пригодился —
Ну что ж, найдётся переплёт:

Я к Белкину пока прибился,
Где граф черешнями плюёт.

Я не знала, кто такой граф с черешнями. Следом шли две строфы про какую-то Натали, такие злые, что я её пожалела. Во второй тетради почерк мельчал и сползал на поля, а в самом конце нескольких листов не было вовсе, только рваные бахромки у корешка, какие остаются, когда вырывают неудачное.

Митин ярлычок от чайного пакетика торчал на балу. Эти строфы Володя вписал на пустой разворот в середине первой тетради, другой ручкой и с зачёркиваниями.

Онегин, вытащенный силой
На бал из комнаты своей,
Весь вечер с Ольгой, с Ольгой милой
Кружил, не глядя на друзей.
А Ленский, автор и ревнивец,
Читал стихи для двух счастливиц,
Но к полночи ушли и те,
Оставив гения в тщете.
Что Ольга? Ольга хохотала,
Пока не кончился паркет
И не погас последний свет,
И ни о чём не горевала.
Онегин вёл её к крыльцу,
А Ленский ...к своему концу.

Под строфой Володя поставил дату: двадцать четвёртое

мая.

Глава 3. Кладовая

20–22 сентября

Завхоз у нас суровый страж:
Не выдаст ни ключа, ни краж.
Из тетради В. Арсеньева

Я записала завхоза Рябова во враги раньше, чем увидела.

Мама звонила по воскресеньям в девять вечера, минута в минуту, как начинала тренировки. Я разговаривала с ней в сушилке. В выходные там ничего не висело, кроме забытого кем-то полотенца, а на тёплом от труб полу под окном можно было сидеть.

Начинала мама с ног.

— Ноги?

— Работают.

— Кисть?

— Прошла.

— Врёшь. Олег не перегибает?

— Свистит.

— Значит, думает. Пришли видео, как держишь.

Я рассказала ей про лёд, чтобы она поверила, что за кистью здесь смотрят. Каждое утро на подоконнике у раздевалки меня ждал пакет со льдом и с моей фамилией, а приносил его лаборант, который помнил, кто какой чай пьёт.

— Сомов? — перебила мама.

— Митя.

Мама замолчала, и в трубке стало слышно, как у неё на кухне капает кран. Я насчитала семь капель.

— Он на меня показал.

Я встала с пола. Дальше мама говорила так, как разбирала со мной проигранные бои, по уколам и без жалости:

— В феврале я сдала Рябову партию, двенадцать шпаг. По приказу, на хранение до утилизации. В журнале кладовой расписались оба, он и я. Теперь страницы в журнале нет, а Рябов говорит, что ничего не принимал. Сомов говорит, я отдала мешок ему и велела отнести к контейнеру за котельной.

— Зачем ему?

— Мальчика запугали.

Ответила она сразу, без той паузы, которую берут, когда вопрос застаёт врасплох.

— Кто?

— Кому надо, чтобы виновата была я. Он мне чай носил, когда я до ночи сидела над заявками. С лимоном. Вера Николаевна говорит, двое против одной.

Верой Николаевной звали маминого адвоката.

— На допросе Борисов зачитал мне их показания. Очную ставку мы просили, он отказал: бережёт несовершеннолетнего. Со мной он не спорит. Слушает и пишет своё.

— Давай я с ним поговорю.

— С Борисовым?

— С Митей.

— Не смей. Ты мне слово дала. Фехтуешь и никуда не лезешь. Про меня там говорят?

— Жалеют.

— Пусть себя жалеют. Сомов знает, кто ты?

— Никто не знает.

В это «никто» не входил Сабуров, который при мне убрал мамин пластырь к себе в нагрудный карман.

— Видео пришли.

Гудки пошли раньше, чем я успела ответить.

Из окна сушилки было видно мужское крыло. В конце второго этажа желтело Митино окно: Кюхля спал при свете, а Митя набрасывал на абажур футболку.

На втором чае, в пятницу, Ольга весь вечер звала меня Ножиком, назло Зарецкому, который каждый раз напоминал, что до посвящения не положено. Митя положил мне лимон не спрашивая и ровно в половине первого разогнал всех по комнатам, как разгонял по пятницам всегда, потому что по субботам ездил к матери в Тосно, туда первой электричкой, обратно к ужину.

Чайник в тот вечер Митя доверил мне. Я выдернула вилку из розетки за секунду до щелчка, и он показал мне большой палец.

Я снова села на тёплый пол и просидела под окном до отбоя, пока дежурный не пошёл по коридору с ключами и не погасил в сушилке свет.

Мамино «двое против одной» я по привычке перевела в счёт. Без Мити выходила ничья, мамино слово против слова Рябова, и пропавшую страницу пришлось бы объяснять ему. По моей легенде, с Гордеевой я пересекалась на сборах, а про мешок Корневой могли написать девчонки оттуда, так что спросить Митю я могла, не снимая маски.

В комнате Тата сидела на моём подоконнике в шерстяных носках, поставив ноги на батарею, и учила физику.

— Мама звонила?

— Звонила.

— Ругала?

— Считала.

— Бухгалтеры, — вздохнула Тата и полезла в шкаф, за куртку, где у неё остывал противень.

Ночью я перерыла обе Володины тетради, выискивая в них Митю. Кроме «Пущин — Митя, за чай» на обороте обложки, про него там не нашлось ни строчки.

Наутро Митя ждал у раздевалки сам, с пакетом льда в руке.

— Ты не заболела?

— Не выспалась.

Вместе со льдом он сунул мне чайный пакетик.

— Держи. Чабрец, от бессонницы. Тате не показывай, она у меня весь чабрец выпивает.

Пакетик пах так же, как Володины тетради. Я могла спросить прямо там, но мимо шла на зарядку половина команды,

впереди всех Дорохов.

За обедом я спросила Тату про Рябова. Тата сначала дожевала котлету.

— Прапорщик. Отвечает за всё, что не шевелится. Я в девятом классе испекла на весь этаж, а он пришёл на запах, когда последний кусок уже доели. Через неделю пироги вписали в устав.

Назавтра Сабуров с утра гонял меня на чувство дистанции. Он шёл на меня или отступал, когда вздумается, а мне полагалось держать между нами ровно полтора шага. Дважды я не выдержала и пошла ему навстречу, за что бегала лишний круг. К концу часа у меня гудели икры.

После тренировки Сабуров дождался, пока я сниму маску.

— Шпаги где держишь?

— В комнате.

— С первого сентября? До вечера сдашь Сомову в оружейную, он подпишет чехол.

— Мне никто не говорил.

— Я говорю. Форму запрёшь в шкафчике, замок возьмёшь у Рябова.

Фамилию Рябова он выговорил так же ровно, как остальные, и по его лицу я не поняла, знает ли он, что завхоз показал против мамы.

Он запер оружейную в августе, в первый же день, как принял команду, и второй ключ отдал Мите.

После уроков я пошла в хозблок, прихватив шпаги, чтобы

не ходить два раза. Вход в подвал был со двора, за котельной, а у забора напротив стоял зелёный контейнер. Я остановилась возле него с чехлом на плече. В контейнере лежал битый кирпич, а сверху кто-то бросил продавленное кресло. По Митиным показаниям, мешок со шпагами мама велела отнести сюда. Крышки у контейнера не было.

Мама не выбрасывала даже сломанные клинки. На антресолях у нас до сих пор лежали все мои старые шпаги, с крестиками и без, и среди них та, на которой я в десять лет учила флеш, пока не сломала.

Шесть ступенек вели вниз, к железной двери с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Ниже мелом было приписано: «Стучать!» Я постучала и вошла, не дожидаясь ответа.

Кладовая тянулась под всем корпусом. Стеллажи уходили в темноту, и от нижних полок, где лежали связанные попарно лыжи, пахло мазью. В дальнем конце, под лампой, сидел за столом Рябов в камуфляжной куртке без погон и писал в журнал ручкой на верёвочке.

Он брил голову наголо, а усы оставил, седые и жёсткие, как щётка у поломоечной машины. За его спиной стоял железный шкаф, на дверце которого белой краской было выведено «СПИСАНО», а на ушках висел новенький замок больше моего кулака.

Он поднял голову, когда я не прошла и трёх стеллажей.

— Куда?! Ученикам сюда нельзя. С оружием тем более! Ходят тут, а у меня отчётность.

— Я Корнева, со шпаги. Меня Сабуров прислал за замком.

— Хоть Гагарин. Замки по заявке, через воспитателя. Сабуров мне не начальник.

Я подошла к столу. Журнал был новый, в синей обложке, исписанный едва до середины. Старый, без страницы, наверняка забрал Борисов, и всё равно Рябов накрыл журнал ладонью.

— А сломанные клинки куда сдавать? Тоже вам?

Не оборачиваясь, он завёл руку за спину и подёргал новый замок на шкафу.

— Сломанное — Сомову! Ко мне ничего не сдают. — Рябов прихлопнул журнал рукой, которая и так на нём лежала. — Оглохла? Кругом — и шагом…

Дверь у меня за спиной лязгнула.

— Виктор Семёнович, это наша, со шпаги. — Митя прошёл мимо меня к стеллажам. — Маэстро ей замок велел.

Рябов замолчал. Он стал шарить по столу в поисках очков, которые висели у него на шнурке, на груди, а найдя их, надевать не стал и убрал ладонь с журнала.

— Да мне-то что, — сказал он журналу.

Коробку с замками Митя снял с верхней полки, ни разу не поискав её глазами. Он выбрал замок, пощёлкав дужкой, и отдал мне один ключ, а второй повесил на доску у двери, где рядами висели запасные ключи от всех шкафчиков манежа, с номерами на бирках.

— Запасной. Потеряешь — тут возьмёшь.

Рябов, не поднимая глаз, развернул ко мне журнал.

— Распишись. Число, фамилия.

Я расписалась в графе «получил». Митя расписываться не стал, и Рябов его не окликнул.

— Дверь за собой! — гаркнул Рябов нам в спину, уже прежним голосом.

На лестнице Митя забрал у меня чехол, как в первый день.

— Ты как там оказался?

— Маэстро сказал, что послал тебя к Рябову. Я и пошёл следом: он новеньким замков не даёт.

— Он на всех так орёт?

— На всех. Младшие к нему по двое ходят, для храбрости. Он двадцать лет склад под Лугой сторожил, прапорщиком. Говорит, у него там гвоздя не пропало.

— На тебя он не орёт.

— Я ему третий год ящики таскаю. Кого ему ещё любить.

У нас в спортшколе вахтёрша так же пускала после десяти одного Кравца, потому что он чинил ей телевизор.

От котельной до манежа было три минуты через двор. На пруду младшие ещё катались на лодках, и одна крутилась на месте, потому что гребли в ней двое и в разные стороны.

На скамейке у воды, той самой, где целуются десятые классы, сидел Ланской, один, с толстой книгой, из которой торчали закладки из бинта. Когда мы поравнялись со скамейкой, он перевернул страницу и не оторвался от неё, а я

зачем-то пошла мимо медленнее, чем шла до этого. Митя посмотрел туда же, куда я, и прибавил шагу.

Оружейная была в манеже, за тренерской. Замок в двери Сабуров врезал новый. Ключей на Митином кольце висело штук шесть, и нужный он нашёл не глядя.

Внутри пахло машинным маслом и кожей. Вдоль стены стояли стойки с чехлами, подписанными по пластырю, а на верстаке у окна лежали разобранные рукояти и гирька тестера. Рядом стояла кружка «ПУЩИН», до краёв полная холодного чая, уже подёрнутого плёнкой.

Митя сел к верстаку и наклеил на клапан моего чехла полоску пластыря. Он держал маркер в кулаке, большим пальцем сверху, как держат рукоять новички, и выводил по одной букве, медленно. «К» была та же, что на пакете со льдом, с длинной нижней палочкой, отставленной вправо.

— Прописью у меня после стекла не выходит, а печатными хоть разборчиво. Дорохов свой чехол за лето два раза терял, ему я написал с двух сторон. Маэстро грозится чехол без фамилии утопить в пруду.

Вопрос был у меня готов с воскресенья, и от самой кладовой я держала его, как держат атаку, пока соперник поправляет маску. Митя начал «Е».

— Гордеева мне на сборах заднюю ногу поправляла. Мешок шпаг она бы тебе не отдала.

Маркер остановился посреди «Е», на двух палочках из четырёх. За стеной, в манеже, кто-то из младших колол ми-

шень, ровно, раз в две секунды. На пластырь, рядом с недописанной буквой, упала капля. Я посмотрела на потолок.

Плакал Митя молча и лица не закрывал. Он вытирал слёзы запястьем, тем, где шов, а маркер из кулака так и не выпустил. Я стояла над ним, как стоят над соперником, который упал на дорожке: ждёшь, встанет ли он сам, и не знаешь, куда деть клинок.

Откуда я знаю про мешок, Митя не спросил: ему было не до того.

— В июне, когда стали искать партию, Рябов позвал меня вниз и запер дверь изнутри. Говорит, ты у меня в кладовой каждый день торчишь, пропало — значит, ты и вынес. Хочешь, чтобы на тебя? Или вспомни, кто тебе мешок дал.

— И ты вспомнил.

— Я испугался.

Я сразу поверила, что Рябов так мог: сама только что стояла у его стола.

— Скажи следователю, как было.

— Скажу — значит, врал. Отчислят в тот же день: квоты у меня нет, держат из жалости. Меня Ирина Андреевна отстояла, когда квоту сняли.

Он опять провёл по лицу запястьем.

— Больше некому. Я маме в Тосно со стипендии отправляю, а без лицея стипендии не будет.

Мама рассказывала за ужином два года назад про мальчика, который порезал руку о стекло и остался без квоты:

она три дня ходила к директору, пока его не оставили при команде лаборантом, а я ушла из-за стола, не дослушав. Я тогда не запомнила имени.

Такая ничья стоила ровно этого: Митя говорит Борисову, что врал, и в тот же день едет с вещами на электричку до Тосно.

Митя наконец положил маркер.

— Ты первая спросила. Не говори никому, ладно?

— Не скажу.

Я не могла на него смотреть и достала телефон. В кладовой, оказывается, от мамы пришло: «Видео где?» Я положила телефон на верстак экраном вниз.

Я сама достала шпаги из чехла. Крестики были на месте, на обеих, маленькие и кривые, изнутри на ободе. Я провела по каждому пальцем и отдала обе шпаги Мите.

Он проверил наконечники гирькой, по очереди, глядя на лампочку тестера: если под грузом загорится, пружина слабая и на контроле шпагу не пропустят. На второй шпаге гирька у него соскользнула: глаза ещё не просохли. Он поставил её снова, и лампочка не загорелась.

Митя уложил шпаги в чехол и дописал «Е», а следом «ВА». В стойке мой чехол встал рядом с «МЕЛЬНИК».

— Всё. Теперь не перепутают.

Глава 4. «Поединок»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.